

ТЮРКО-ТАТАРСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ НАЧАЛА XX В.

К.К. Базарбаев

Рассмотрены проблемы становления татарской национальной идентичности тюрко-татарских эмигрантов в Северо-Восточной Азии, национально-историческая связь тюркского и мусульманского миров с родственными азиатскими народами.

Ключевые слова: татары; эмигрант; Северо-Восточная Азия; Япония.

Изучение истории российской эмиграции на Дальнем Востоке – одно из самых развивающихся направлений в исторической науке. Однако до сих пор внимания к национальной структуре российской диаспоры в Северо-Восточной Азии не уделялось. Российские и американские исследователи отметили особенность эмигрантов Дальневосточного региона – разделение по национально-этническому признаку, “чего почти нельзя встретить среди эмигрантов западной ветви” [1, с.70]. Так, Т. В. Ревякина называет русскую эмиграцию в Северо-Восточной Азии “региональной российской диаспорой”. Д. Вольф пытается объяснить причины возникновения такого специфического типа общества либерализмом российских властей изучаемого периода в Маньчжурии, особенно после русско-японской войны 1904 г., что было нетипично для Российской Империи и ее национальной политики [2, с. 7].

Он предполагает, что после 1917 г. Маньчжурия, особенно ее столица Харбин, превратились

в самосознательное, частично саморегулируемое общество. Ясно, что основой здесь стали общины, в том числе национальные. Изучения татарской национальной диаспоры фактически до настоящего времени не предпринималось. Так, автор одной из лучших книг по истории Дальнего Востока Д. Стефан вообще не упоминает о татарских эмигрантах и их обществах, в то время как отмечает польскую, еврейскую и другие диаспоры [3, с. 62]. Т.В. Ревякина отводит им всего несколько строк: “По всей Маньчжурии, а также в Шанхае, имелись тюрко-татарские национальные общины и их культурно-просветительские общества. При общинах, как правило, имелись свои духовные центры – мечети (в Харбине – три, на линии КВЖД – около 18 мечетей); национальные школы и общества (убежища) для призрения стариков и сирот” [1, с. 71]. В последние годы появились работы татарских и башкирских историков, однако и они не дают целостной картины развития миграционного процесса среди татар [4, с. 154].

Аналогичное мнение высказал А. Пронин: “Проблемы истории татарской эмиграции, формирования татарской диаспоры бывшего СССР оставались долгое время вне поля зрения советских историков и публицистов” [5, с. 23]. По мнению автора, до начала 1990-х гг. таких работ не проводилось вообще. Только в 1994 г. в журнале “Татарстан” была опубликована статья историка И. Гилязова “Там, в иных краях”, посвященная татарской эмиграции в 1920–1940-е гг. [7, с. 52]. Автор публикации отметил несколько проблем, стоящих перед исследователями истории татарской эмиграции: необходимо определиться с датой отсчета татарской эмиграции, внести ясность в вопросы о хронологии и численности ее “волн”, выявить географические центры рассеяния, рассмотреть не только политическую, но и культурную жизнь татарских общин; заслуживают проработки вопросы юридической, экономической, психологической адаптации эмигрантов; интересно рассмотреть жизнь татарской диаспоры в лицах. У японских исследователей так же существует давний интерес к тюрко-татарским эмигрантам [7, с. 47]. Профессор Токийского университета Хисао Коматцу замечает, что большинство японских исследователей Волго-Уральского региона пришли из славистики, поэтому они используют в основном источники на русском языке, в то время как источники на татарском, башкирском и других тюркских языках практически не исследованы, хотя и хранятся в архивах Японии [8, с. 130]. Следует отметить, что подобная проблема актуальна и для российских исследователей эмиграции в Японии. Среди российских японистов практически нет исследователей, знающих тюркские языки. Более того, нам кажется курьезным тот факт, что первые работы о значении и роли тюрко-татарской диаспоры в Японии и Северо-Восточной Азии (в частности, ее влияние на развитие турко-японских, исламско-японских связей, влияние на развитие японского национализма), появившиеся на английском языке, принадлежат турецким [9, с. 76] а не российским (татарским или башкирским) исследователям. К вопросу о термине. Окончательный термин в определении эмиграции тюркоязычных народов на Дальнем Востоке пока не установился. А. Юнусова называет ее или “татари-башкирской”, или “тюрко-мусульманской”. Исследователь считает, что в Японии диаспора была преимущественно башкирской, ссылаясь на то, что лидером ее был этнический башкир, мулла М.-Г. Курбангалиев,

и в названии должно присутствовать указание “башкирской” составляющей.

По нашему мнению, можно согласиться с этим термином применительно к татарской эмиграции в Японии, но не в отношении всей эмиграции на Дальнем Востоке. Р. Гайнетдинов применяет термин “тюрко-татарская эмиграция”, подчеркивая тем не менее единство татар и башкир. По его мнению, “это была эмиграция духовно и этнически близких народов”. В ряде исторических и архивных документов, в том числе в документах архива ФСБ России, встречается термин “тюрко-татарская эмиграция”. Нам представляется более приемлемым термин “тюрко-татарская” эмиграция, так как официальным языком общения внутри общин, а также языком печатных изданий на Дальнем Востоке, был татарский. Более того, японский тюрколог Кооджи Окубо, долгое время проживавший в среде тюрко-татарской эмиграции в Маньчжурии, писал в статье “Жизнь тюрков в Харбине” (часть “Тюрко-татарский язык в Маньчжурии”): “Особенное место занимает в Маньчжурии тюркский язык. Вслед за китайским и русским языком он используется здесь как язык межкультурного общения (кроме того, ограниченно применяются еврейский и японский языки, как правило, евреи говорят по-русски). Причины этого следующие: тюркские племена с давних времен посредством движения на запад распространили влияние тюркского языка, поэтому с недавнего времени Россия использовала людей тюркской национальности для влияния на Дальнем Востоке; влияние и интерес тюркских стран к восточным странам, политические и торговые отношения и проезд сюда жителей тюркских стран; так как распространилось влияние тюрков (по первой причине), основой их языка был тюркский или просто татарский, на Западе – вариант османского языка. Однако различия в вариантах тюркского языка очень небольшие. Уникальность этого языка состоит в том, что любой тюрк способен понять его, и, следовательно, этот язык полностью удовлетворяет потребностям коммуникации... Таким образом, тюрки разговаривают между собой по-турецки и татарски, с русскими – по-русски, с представителями других национальностей – или на их языке или по-русски, с представителями тюркских народов – по-тюркски, используя тюркский язык как эсперанто” [11, с. 45].

Необходимо уточнить, что термин “тюрко-татарский” не означал в Японии того периода принадлежности эмигрантов именно к татарской

нации. Японцы выделяли в многонациональном составе СССР туранскую (урало-алтайскую), как они ее называли, национальную группу. Она, по их представлениям, подразделялась на тунгусскую, монгольскую, тувинскую, тюркскую (тюрко-татарскую), финно-угорскую и самоедскую группы. Тюркскую (тюрко-татарскую) группу составляли следующие народы: восточные тюрки (якуты, алтайцы, барабинские татары, сибирские татары (тобольские татары или сибирские бухарцы); западные тюрки (киргизы, казахи): западно-сибирские татары, волжские татары, башкиры, чуваш и мишары; центральноазиатские тюрки (узбеки, сарты); южные тюрки (туркмены, османские тюрки, ногайцы, азербайджанские тюрки). Таким образом, под определением “тюрко-татарский” понималась довольно многочисленная группа тюркоязычных народов. Возможно, термин “татарский” присоединялся для локального применения в условиях японского протектората в Азии и для облегчения восприятия азиатскими народами этой национальной группы, исторически связанной с возникновением в Центральной Евразии империи Чингисхана. Именно под словом “татар” (или “дат-ган” в японском и китайском произношении) создавались устойчивые ассоциации с тюркскими народами. Кстати, в Европе в это же время термин “тюрко-татары” был менее распространен. И. Гилязов использует термин “поволжские татары”, учитывая тот факт, что татарская эмиграция концентрировалась вокруг “Комитета Идель-Урал”. Тюркская эмиграция в Европе была более организована и многочисленна, потому и дифференцирована.

На наш взгляд, эмиграция в Северо-Восточной Азии в большинстве своем состояла из поволжских татар; само название “идель-уральские татары” появилось для акцентирования на национальной идентичности в период посещения Г. Исхаки Маньчжурии. Другие тюркские национальности, такие, как башкиры, азербайджанцы, были малочисленны и не смогли создать самостоятельные организации, потому и присоединились впоследствии к поволжским татарам. Однако мы не можем настаивать на термине “тюрко-татарская эмиграция”, так как мусульманский компонент, особенно до 1930-х гг. превалировал в самоидентификации российских тюрков, а следовательно, и эмигрантов, о чем говорит создание изначально “мусульманских общин” в этом регионе, а не национальных тюрко-татарских (они стали появляться только в 1930-х гг.). Возможно, впо-

следствии термин “тюрко-татарская эмиграция” будет уточнен. К вопросу о периодизации миграционного процесса О. Бакич выделяет три основных периода в истории российской эмиграции в Харбине [11, с. 1] 1. Период от начала строительства КВЖД (1898 г.) и до конца существования Российской Империи (1917 г.); 2. Собственно период эмиграции – с 1918 г. по август 1945 г., характеризующийся быстрым увеличением эмигрантов, совместным китайско-советским управлением КВЖД, японской оккупацией и жизнью в созданном японцами государстве Манчжоу-Го; 3. Советский период – с 1946 г. до окончательного исчезновения эмигрантов в середине 1960-х гг. Взяв за основу эту периодизацию, деля второй период на три более специфических, зависящих от сложности процесса развития именно тюрко-татарской эмиграции, можно выделить пять периодов в развитии тюрко-татарской диаспоры в Северо-Восточной Азии. Первый период – с начала строительства КВЖД (1898 г.) до революции 1917 г. Д. Стефан указывает, что историю крестьянской эмиграции на Дальний Восток до 1917 г. можно разделить на три периода, а именно: 1859–1882, 1882–1907 и 1908–1917 гг.

Не обнаружено свидетельств того, что первая волна крестьянских эмигрантов включала и татар, хотя Стефан уверяет, что среди них были семьи из Волго-Уральского региона. Как известно, первым поселенцем-татарином в Маньчжурии был Байчурин, прибывший с первой партией поселенцев в 1898 г. [12, с. 43], после принятия решения о строительстве КВЖД. Таким образом, можно утверждать, что татары стали обосновываться здесь на поселение в период второй волны эмиграции (1882–1907 гг.). По данным Д. Стефана, 8 % переселенцев (19 440 человек из 243 тысяч) составляли крестьяне из Белоруссии, Нижней Волги и Уральского региона. Третья волна – столыпинская – породила и коммерсантов. Возможно, основная масса татарских семей прибыла именно в этот период. Татары, преимущественно пензенские и казанские, так называемые мишары, в 1904 г. создали мусульманскую общину Харбина. Название “мусульманская община” корреспондируется с существовавшим в начале XX в. понятием “российские мусульмане”, когда религиозный фактор превалировал над национальным в самоидентификации российских тюрков, хотя конец XIX – начало XX в. ознаменовались появлением татарской национальной буржуазии, так называемым ренессансом татарского национального движения, ищущим

щего возможности для реализации своих экономических и национальных интересов.

Война с Японией 1904–1905 гг. и поражение в ней, стимулировавшее революцию 1905 г., дали импульс развитию национальных движений в среде азиатских, в том числе тюркских, народов России. Затеплилась надежда на изменение национальной политики или в крайнем случае на то, что помощь “придет с Востока”. Необходимо упомянуть и другой факт. В 1906–1907 гг. Японию с миссионерскими целями посетил мусульманский деятель, казанский татарин по рождению, Рашид Ибрагимов. И хотя его утопические цели (уговорить японцев принять ислам в качестве государственной религии) не реализовались, почва для толерантного восприятия мусульманской культуры в Японии, носителя которой впоследствии стали в основном российские эмигранты – татары – была создана. Пожалуй, только тюрко-татарская эмиграция впоследствии была столь доброжелательно принята в Японии (в 1927 г. она получила право создания национальной школы, было разрешено строить мечети в Кобе, Нагойе и в Токио. Мечети существуют до сих пор в этих городах, кроме Нагойи). До 1944 г. имамами мусульманской общины в Токио были казанские татары, в том числе и Р. Ибрагимов. Кстати, книга Р. Ибрагимова “*Âlem-i İslâm ve Japonya'da İntişar-ı İslâmiyet*” в России так и не была издана. Второй период охватывает время с начала 1917 г. до 1933–1935 гг. К 1935 г. татарских эмигрантов на Дальнем Востоке было около 10 тысяч. Считалось, что татар “в Японии имеется около двух тысяч, а в Маньчжурии и Китае около семи тысяч человек”.

В это время шел интенсивный процесс образования “мусульманских общин” из числа вынужденных эмигрантов по типу харбинской в Китае, Японии, а после разрушительного землетрясения 1923 г. – в Токио и в Корее. В начале 1930-х гг. вся российская эмиграция столкнулась с новой политической ситуацией – созданием в Маньчжурии нового государства под японским протекторатом. Перед лицом новой проблемы оказались и японцы. Дело в том, что в Маньчжоу-Ди-Го существовало многонациональное саморегулируемое общество, огромное количество “белого”, европейски образованного населения. Японцам пришлось впервые вырабатывать национальную политику, причем в отношении каждого конкретного национального сообщества. Эта политика была подчинена подготовке к войне и ведению войны. Развитие татарской эмиграции согласовывалось с этими целями как по своей

антисоветской направленности, так и потому, что японцы испытывали симпатию к татарам, считая их потомками прославленного Чингисхана, перед которым преклонялись. “Сильный диктует свою волю слабому, главным критерием силы является военная мощь, а главным инструментом внешней политики – война, для победы в которой неплохо иметь союзника, способного оказать помощь и почти ничего не требующего взамен” [13, с. 26]. Только эти уроки Японии, по мнению Г. Кунадзе, усвоила к концу Второй мировой войны и ими руководствовалась. За татарами виделась историческая фигура, которая, ведя подобную политику, смогла покорить полмира.

Такой народ вполне подходил на роль союзника. Кроме того, в качестве союзника тюрко-татары выступали фактически с момента окончания русско-японской войны.

Литература

1. Ревякина Т. В. Российская эмиграция в Китае: проблемы адаптации (20–40-е гг. XX в.) М., 2002.
2. Wolff, D. To the Harbin Station. The liberal Alternative in Russian Manchuria, 1898–1914. Stanford University Press, 1999.
3. Stephan, John J. The Russian Far East. A history. Stanford University Press, 1994.
4. Гайнетдинов Р. Б. Тюрко-татарская политическая эмиграция: начало XX в. 30-е гг. М.; Набережные Челны, 1996.
5. Пронин А. А. Российская эмиграция в современной историографии // Международный исторический журнал. 2001.
6. Гилязов И. А. Там, в иных краях. Татарстан, 1994.
7. Matsunaga, A. Ayaz Ishaky and Turco-Tatars in the Far East // The Rising Sun and the Turkish Crescent / Edited by S. Esenbel and I. Chinaru. Istanbul, 2003.
8. Komatsu, H. Modern Central Eurasian Studies in Japan. Tokyo: An overview 1985–2000, 2003.
9. Dundar A. Japonya Turk-Tatar Diasporasi. Ankara, Modern Turkluk Arastimlari Dergisi. 2004.
10. Okubo Koodji. Harubin ni okeru toruko minzoku no seikatsu (Жизнедеятельность тюркского народа в Харбине. – пер. авт.). Touyou. 1924.
11. Bakich O. Harbin Russian Imprints. Bibliography as history. 1898–1961. New York, 2002.
12. Хисамутдинов А. А. Российская эмиграция в Китае. Владивосток, 2001.
13. Кунадзе Г. Внешняя политика Японии: время перемен. Токио, 2003.